

Joost van Baak,
О поэтике первых переживаний
(O poetike pervych pereživanij)

aus:

Analysieren als Deuten
Wolf Schmid zum 60. Geburtstag

Herausgegeben von Lazar Fleishman, Christine Gölz und Aage A.
Hansen-Löve

S. 259-276

Impressum für die Gesamtausgabe

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Diese Publikation ist außerdem auf der Website des Verlags Hamburg University Press *open access* verfügbar unter <http://hup.rrz.uni-hamburg.de>.

Die Deutsche Bibliothek hat die Netzpublikation archiviert. Diese ist dauerhaft auf dem Archivserver Der Deutschen Bibliothek verfügbar unter <http://deposit.ddb.de>.

ISBN 3-9808985-6-3 (Printausgabe)

© 2004 Hamburg University Press, Hamburg

<http://hup.rrz.uni-hamburg.de>

Rechtsträger: Universität Hamburg

Inhalt

Vom nicht abgegebenen Schuss zum nicht erzählten Ereignis	11
Schmid'sche Äquivalenzen <i>Aage A. Hansen-Löve (München)</i>	
Kein Elfenbeinturm für Wolf Schmid	19
15 Jahre Alexander-Sergejewitsch-Puschkin-Preis <i>Ulrich-Christian Pallach (Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., Hamburg)</i>	
Critique of Voice	31
The Open Score of Her Face <i>Mieke Bal (Amsterdam)</i>	
Towards a Cognitive Theory of Character	53
<i>Willem G. Weststeijn (Amsterdam)</i>	
Literarische Kommunikation und (Nicht-)Intentionalität	67
<i>Reinhard Ibler (Marburg)</i>	
«Теснота стихового ряда»	85
Семантика и синтаксис <i>Michail Gasparov (Moskau)</i>	
О принципах русского стиха	97
<i>Vjačeslav Vs. Ivanov (Moskau, Los Angeles)</i>	
Эстетика тождества и «железный занавес» первого Московского царства	111
<i>Marija Virolainen (St. Petersburg)</i>	
Семантический ореол «локуса»	135
Выбор места действия в художественном тексте <i>Tat'jana Civ'jan (Moskau)</i>	

Из истории сонета в русской поэзии XVIII века	151
Сонетные эксперименты. Случай «двуединого» сонета <i>Vladimir Toporov (Moskau)</i>	
Фантазия versus мимезис	167
О дискурсе «ложной» образности в европейской литературной теории <i>Renate Lachmann (Konstanz)</i>	
„Korinnas Reiz macht mir das Herze wund“	187
Zum quasinarrativen Element in Franciszek Dionizy Kniaźnins „Erotica“ (1779) <i>Rolf Fieguth (Fribourg)</i>	
Zur Poetik von Schota Rustaweli	219
<i>Winfried Boeder (Oldenburg)</i>	
Литература по ту сторону жанров?	231
<i>Igor' Smirnov (Konstanz)</i>	
О поэтике первых переживаний	259
<i>Joost van Baak (Groningen)</i>	
Медленное чтение «Евгения Онегина» как курс введения в литературоведение	277
<i>Aleksandr Čudakov (Moskau)</i>	
Поэзия как проза	299
Нарратор в пушкинской «Полтаве» <i>Lazar Fleishman (Stanford, California)</i>	
Poetry and Prose	337
Pushkin's Review of Sainte-Beuve's "Vie, Poésies et Pensées de Joseph Delorme" and the Tat'iana of Chapter Eight of "Evgenii Onegin" <i>David M. Bethea (Madison, Wisconsin)</i>	
«Не бось, не бось»	353
О народном шиболете в «Капитанской дочке» <i>Natalija Mazur (Moskau)</i>	

Der frühe russische Realismus und seine Avantgarde	365
Einige Thesen <i>Aage A. Hansen-Löve (München)</i>	
Где и когда?	407
Из комментариев к «Мертвым душам» <i>Jurij Mann (Moskau)</i>	
Сатирический дискурс Гоголя	417
<i>Valerij Tjupa (Moskau)</i>	
Macht und Ohnmacht des (Ich-)Erzählers	429
F. M. Dostoevskijs „Belye noči“ <i>Riccardo Nicolosi (Konstanz)</i>	
“Les jeux sont faits”	449
Money and Roulette as a Literary Communicative Device in “The Gambler” <i>Boris Christa (Queensland, Australia)</i>	
Сцена из «Фауста» в романе Достоевского «Подросток»	461
<i>Galina Potapova (St. Petersburg)</i>	
От «говорили» к «как-как-фонии»	483
Отчуждение языка в «Даме с собачкой» <i>Peter Alberg Jensen (Stockholm)</i>	
Die anthropologische Bedeutung und der poetische Aufbau Čechov’scher Erzählungen am Beispiel von „Nesčast’e“	499
<i>Matthias Freise (Salzburg, Göttingen)</i>	
Narration als Inquisition	513
Čechovs Kurzgeschichte „Novogodnjaja pytka. Očerk novejšej inkvizicii“ <i>Erika Greber (München)</i>	
Рождение стиха из духа прозы	541
«Комаровские кроки» Анны Ахматовой <i>Roman Timenčik (Jerusalem)</i>	

Кубовый цвет	563
Из комментария к словарю Набокова <i>Aleksandr Dolinin (Madison, Wisconsin)</i>	
Подводное золото	575
Ницшеанские мотивы в «Даре» Набокова <i>Savely Senderovich, Elena Shvarts (Ithaca, NY)</i>	
Zur Kohärenz modernistischer Texte	591
Schulz' „Nemrod (Sklepy cynamonowe)“ <i>Robert Hodel (Hamburg)</i>	
«Доктор Живаго» Б. Пастернака и «Хождение по мукам» А. Н. Толстого	617
К вопросу о судьбах русского романа в двадцатом столетии <i>Vladislav Skobelev (Samara)</i>	
„Ja k vam pišu...“ – mediale Transformationen des Erzählens	631
Tat'janas Liebesbrief in Puškins Versroman „Evgenij Onegin“, Petr Čajkovskijs gleichnamiger Oper und Martha Fiennes' Verfilmung <i>Rainer Grübel (Oldenburg)</i>	
Пушкин как персонаж лирической поэзии «ленинградского андеграунда»	665
<i>Vladimir Markovič (St. Petersburg)</i>	
Das ABC der russischen Katastrophen	689
Tat'jana Tolstajas Roman „Kys“ <i>Christine Gölz (Hamburg)</i>	
Schriftenverzeichnis von Wolf Schmid	719
Autorinnen und Autoren	735

О поэтике первых переживаний

Joost van Baak

...since the first creatures on earth to become
aware of time were also the first to smile

Vladimir Nabokov, Speak, Memory

Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес...

Николай Заболоцкий, Детство

Кажется, все начинается с улыбки. Вергилий в своей 4-ой эклоге побуждает новорожденного ребенка улыбнуться своей матери, в знак узнавания:

*Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem*¹

Несмотря на спорный мессианский смысл этого стихотворения в целом, и роль ребенка в нем в особенности,² мы можем и на расстоянии десятков веков оценить глубину его психологической наблюдательности. Своей первой улыбкой ребенок дает знать, что он узнает мать, одновременно вызывая ответную улыбку. Трогательное прилагательное *parve* (маленький), как раз подчеркивает ценность и необходимость этого первого переживания в начале жизни, с которого начинается наша сознательная и социальная человеческая жизнь. Одновременно улыбка является и наглядным доказательством возникновения в

¹ «Начни, маленький мальчик, улыбкою узнавать маму».

² Ср., например комментарий в *Virgil. Eclogues, Georgics, Aeneid 1—6*. Cambridge, Mass.; London, 1998. Pp. 576—579.

ребенке сознания, что, в свою очередь, имплицитно, что ребенок впервые установил разницу и границу между собой и миром, между собой и другими, себе подобными, с которыми будут развиваться обоюдные отношения. По своей исключительной жизненной важности это не просто «первое переживание» чего-нибудь, а экзистенциально первое переживание, определяющее всю дальнейшую жизнь. При всем этом парадоксально, что сам ребенок, должно быть, этого еще не сознает, но это необходимый шаг в процессе приобретения самосознания. Таких пороговых моментов, надо полагать, в жизни будет не очень много, но феномен первых переживаний как таковых, конечно, не ограничен этим случаем.

Неудивительно, что в литературе и философии более поздних эпох повторяется это сочетание первого экзистенциального переживания и улыбки.

Сергей Булгаков, например, будучи уже стариком, тем не менее пользуется этим же топосом, когда он старается передать свою мистическую связь с местом рождения³ и процесс развивающегося понимания с помощью образа нуминозной встречи.⁴ Интересно при этом, что он ставит себя в положение вергилианского ребенка по отношению к Софии-матери, которая улыбается ему:

И моя родина есть прекрасный дар божий, благословение и напутствие на всю жизнь. И вот бреду я эту долгую жизнь и внемлю завещанию, и все яснее она раскрывается мне, *как перевозданная улыбка Софии Божественной*, которой она позвала, *приласкав меня как младенца*, и тихим, тихим шепотом сказала мне свое имя. [...] я полюбил ее на всю жизнь и всю жизнь искал встречи с ней, хотел узнать ее имя (курсив мой, *J. v. B.*).

³ К этому месту (родине) он имеет не просто положительное, а амбивалентное отношение. Эта амбивалентность связана с большим количеством переживаний в прошлом; тем не менее он уподобляет место своего рождения самой матери-земле и соотносит его с появлением Софии в своей жизни.

⁴ Булгаков С. Н. Моя родина // Русская идея / Сост. М. А. Маслин. Москва, 1992. С. 373.

Рильке написал стихотворение *Liebesanfang* (*Начало любви*). В нем возникновение и первое переживание чувства любви поразительным образом сочетается с «первой улыбкой», с одновременным обменом взглядами в знак обоюдного узнавания и с памятью:

Liebesanfang

O Lächeln, erstes Lächeln, unser Lächeln.
Wie war das Eines: Duft der Linden atmen,
Parkstille hören —, plötzlich in einander
aufschauen und staunen bis heran ans Lächeln.

In diesem Lächeln war Erinnerung
an einen Hasen, der da eben drüben
im Rasen spielte; dieses war die Kindheit
des Lächelns. Ernster schon war ihm des Schwanes

Bewegung eingegeben, den wir später
den Weiher teilen sahen in zwei Hälften
lautlosen Abends. — Und der Wipfel Ränder
gegen den reinen, freien, ganz schon künftig
nächtigen Himmel hatten diesem Lächeln
Ränder gezogen gegen die entzückte
Zukunft im Antlitz.⁵

Первая улыбка здесь — знак одновременного появления обоюдного сознания любви («O Lächeln», «*erstes Lächeln*», «*unser Lächeln*»). Это происшествие интерпретируется, очевидно, как внезапный переход от восприятия мира как (имплицитно) неразделенного, единосущного («Wie war das *Eines*:») к восприятию и сознанию мира как разделяемого и общего («plötzlich *in einander* aufschauen und staunen [...]»). В начале второй части стихотворения подчеркиваются первичность, мимолетность и, должно быть, очарование этого момента (т. е. начала любви, *Liebesanfang*) в синтетическом представлении «детства улыбки» («dieses war die Kindheit des Lächelns», с отзвуком игры зайца). Переход к этому новому восприятию мира, как я заметил по поводу стиха Вергилия, подразумевает, что в восприятии мира и в сознании появляется принцип или феномен границы (разграничения). Идея *Дру-*

⁵ Rilke R. M. Gedichte. Frankfurt a. M., 1986. S. 885—886.

того (*Другой*) у Рильке развивается и модифицируется дальше как проекция раздвоения на весь мир; она объективируется («*ernster schon [...]*») и расширяется тем, что переносится на образ лебедя, визуально разделяющего пространство пруда на две части, а потом и на деревья вокруг него («*Und der Wipfel Ränder*»), и на ночное небо. Вместе с этой первой улыбкой и всей новизной, которую она обозначает, появилось, кроме того, новое переживание пространства мира как отчетливо ограниченного, отмежеванного (ср. две части пруда, употребленное дважды «*Ränder*»: «*Und der Wipfel Ränder | gegen den reinen, freien, ganz schon künftig | nächtigen Himmel hatten diesem Lächeln | Ränder gezogen*»); это сопровождается чувством чистоты («*reinen*») и свободы («*freien*»). Появилось и новое переживание времени, т. е. временно-пространственный ориентир. Интересно и то, что это новое временное восприятие приняло пространственную форму «восхищенного будущего в лице» («*die entzückte Zukunft im Antlitz*»). Испытавший это субъект имел, видимо, нуминозное переживание через новые очертания мира, т. е., другими словами, осознал новую его знаковость.

Набоков был уверен, что возникновение рефлектирующего сознания в первом человеке совпало с возникновением чувства времени. В первой главе своего автобиографического *Speak, Memory* он пишет: «The beginning of reflexive consciousness in the brain of our remotest ancestor must surely have coincided with the dawning of the sense of time».⁶

Тем не менее, образы, которыми он пользуется для передачи этого события, черпая их из своей личной памяти, сугубо пространственны. И это не должно удивлять нас. Как стало очевидным из семиотических исследований Ю. М. Лотмана и других, категория пространства является самым сильным, даже неизбежным, генератором образного языка для выражения и непространственных значений, включая специализацию временных концептов и отношений.⁷ Для Набокова мо-

⁶ Nabokov V. *Speak, Memory. An Autobiography Revisited*. Harmondsworth, 1988. P. 8. «Филологически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени» (*Набоков В. Приглашение на казнь. Романы. Рассказы. Критические эссе. Воспоминания*. Кишинев, 1989. С. 361).

⁷ Ср. у Набокова, *на каждом шагу*, так сказать: «Initially, I was unaware that time, so boundless at first flush, was a prison. In probing my childhood (which is the next best to

мент первого переживания времени совпал с началом его сознательной жизни и сопровождался упоением радостью жизни и улыбкой. Это психическое событие произошло, когда ему было четыре года. Он вспоминает прогулку в саду вместе с родителями. Он задал вопросы, видимо об их возрасте, получил ответ, и в тот момент вдруг понял разницу в возрастах между ним и его родителями. Тогда же его сознанию открылось чудо времени, вместе с сознанием самого себя и других в нем:

Thus, when the newly disclosed, fresh and trim formula of my own age, four, was confronted with the parental formulas, thirty-three and twenty-seven, something happened to me. I was given a tremendously invigorating shock. [...] I felt myself plunged into a radiant and mobile medium that was none other than the pure element of time. One shared it — just as excited bathers share shining seawater — with creatures that were not oneself but that were joined to one by time's common flow, [...] At that instant, I became acutely aware that the twenty-seven-year-old being, in soft white and pink, holding my left hand, was my mother, and that the thirty-three-year-old being, in hard white and gold, hold-

probing one's eternity) I see the awakening of consciousness as a series of spaced flashes, with intervals between them gradually diminishing until bright blocks of preception are formed, affording memory a slippery hold» (*Nabokov V. Speak, Memory*. P. 8.) («В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное, на первый взгляд, время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы») (*Набоков В. Приглашение на казнь. Романы. Рассказы. Критические эссе. Воспоминания*. С. 361). — Гипотеза Набокова заключается в том, что пробуждение к сознанию у человека имело (и имеет) место только после момента освоения времени. Исходя из нее, мы можем тогда заключить: 1) что столь очевидное преимущество семиотики пространства перед семиотикой времени для человека имеет эволюционное и антропологическое основание; и 2) что развитие в человеке семиотики пространства не только предшествовало эволюции его сознания времени, но и существенно обусловило эту эволюцию. Однако для Набокова именно ощущение (восприятие) времени отличает человека от животных: «One shared it, — [...] time's common flow, an environment quite different from the spatial world, which not only man but apes and butterflies can perceive» (*Nabokov V. Speak, Memory*. P. 19).

ing my right hand, was my father. [...] Indeed, from my present rim of remote, isolated, almost uninhabited time, I see my diminutive self as celebrating, on that August day 1903, the birth of sentient life. If my left-hand-holder and my right-hand-holder had both been present before in my vague infant world, they had been so under the mask of a tender incognito. [...] My father, let it be noted, had served his time of military training long before I was born, so I suppose he had that day put on the trappings of his old regiment as a festive joke. To a joke then, I owe my first gleam of complete consciousness — which again has recapitulatory implications, since the first creatures on earth to become aware of time were also the first creatures to smile.⁸

Литературный топос первого переживания — тематический узел, в котором сходятся темы возникновения личности, личного сознания и идея или чувство новизны, имеющие особое значение для (авто)биографических, мемуарных и т. п. жанров, но вопрос стоит шире. В контексте культуры и языка наша тема, конечно, прежде всего связана с категориями начала и конца. Они моделируют самые основы человеческого восприятия мира и жизни как процессов. Без них невозможно

⁸ *Nabokov V. Speak, Memory*. Pp. 18—19. «Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретила в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. [...] я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, — отец. [...] И глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого, оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами. [...] Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, и я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно были и первыми, умевшими улыбаться» (*Набоков В. Приглашение на казнь. Романы. Рассказы. Критические эссе. Воспоминания*. С. 361—362).

было бы представить ни мифологического мышления, ни летописей, ни сюжетной структуры вообще. Язык (*langue*) и система жанров (в широком смысле общечеловеческой, прагматической текстовой компетенции) лежат в основе любого речевого момента (речевого акта). Поэтому мы можем рассматривать тему первых переживаний как с точки зрения индивидуального когнитивного (умственного и аффективного) и речевого (текстового) акта, так и с типологической и антропологической точки зрения.

Как я уже заметил, с топосом первых переживаний связана идея новизны, т. е. восприятие какого-нибудь положения, зрелища, чувства или какой-либо мысли, как чего-то нового, или же восприятие чего-либо (в принципе) знакомого по-новому.

Интересный пример этого последнего варианта новизны восприятия можно найти в том месте в *Казаках* Толстого, когда Оленин приближается к кавказским горам, о которых он слышал и читал:

«Вот оно где начинается!» говорил себе Оленин и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. [...] Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал.⁹

Его восприятие гор служит своего рода экраном для проекции его психического развития и начинающегося морального очищения.¹⁰ Это восприятие меняется, становится новым, совсем иным, чем раньше, по мере того как он приближается к ним и одновременно удаляется от московского мира и царящей в нем пошлости. Знаменательна здесь

⁹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Nendeln, Liechtenstein, 1972. Т. 6. С. 13—14 (репринт; ориг. изд. — Москва; Ленинград, 1929).

¹⁰ Кроме как в рамках топоса первого переживания, семиотику восприятия и новизны в этом эпизоде можно оценить еще и как литературно-эстетическую полемику реалиста Толстого с условностями романтической стилистики (а именно с Бестужевым-Марлинским в его *Вечере на Кавказских водах в 1824 году*); см. *Van Baak J. Continuity and Change: Some Remarks on World Pictures in Russian Literature // Signs of Friendship (to Honour A. G. F. van Holk, Slavist, Linguist, Semiotician) / Ed. by J. J. van Baak. Amsterdam, 1984. Pp. 365—377.*

опять-таки оценка нуминозности этого переживания как начала чего-то нового («как-будто сказал ему какой-то торжественный голос»):

Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту [...] цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что только он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось», как будто сказал ему какой-то торжественный голос.¹¹

С точки зрения индивида феномен новизны воспринимается (сознается) не только на фоне положительно окрашенного опыта личного сознания и личной памяти: впервые осознанная мысль, первый визит в незнакомое место, первая встреча, первый поцелуй (знаменитая тема «первой любви»¹²), психосоциальные ритуалы посвящения или инициации, — но и первого опыта в области отрицательных эмоций, такого, как потеря, зависть и т. п. Итак, оказывается, что не всегда все начинается с улыбки.¹³

На сверхиндивидуальном уровне культуры дело обстоит немного иначе, особенно в случае сложных, скажем, «современных» или «просветительских» типов цивилизации, поскольку тут мы имеем дело с одновременными, но часто разнородными процессами (диалектикой) того, что можно назвать *communis opinio*, включая моду, политические, идеологические и религиозные концепции, коллективную самооценку и самоидентификацию общества. Подобные «современные» культуры знают феномен моды и неотъемлемый от нее оценочный (и идеологический) механизм новизны. Существуют, однако, более арха-

¹¹ Там же.

¹² См. хотя бы у таких русских авторов, как Тургенев, Чехов, Бабель.

¹³ Однако мне кажется трудно представимым, что психоперцептивный модус первого переживания мог бы относиться к таким ощущениям, как скука.

ичные тексты, в которых идея новизны функционирует иначе или прямо отвергается.¹⁴

В первой главе книги Бытия описывается сотворение мира, что, казалось бы, должно было представлять собой наивысшую степень новизны. Но там эта идея не выражена (как и, вероятно, в других подобных мифах), — скорее всего, потому, что бог Ветхого завета одновременно и всезнающий агент-зачинатель этого события, и единственный переживающий его субъект. Его ничто не может удивить.

Зато, в отличие от него, богам античного пантеона, как например Нептуну, не были чужды чувства новизны и изумления, что мимоходом упоминает Данте в самом конце *Paradiso*. Нептун, по словам Данте, удивился тени корабля Арго, первого в мире судна, появившегося на море:

(Un punto m'è maggior letargo,
Che venticinque secoli alla impresa,
Che fe' Nettuno ammirar l'ombra d'Argo.
(XXXIII, 94—96)¹⁵

Библейский Экклезиаст принципиально отрицает идею новизны: нет ничего нового под солнцем. Все, что есть, уже было раньше. Кроме того, он подчеркивает именно слабость человеческой памяти, как личной, так и коллективной; нет воспоминаний о прошлом, не будет их и у будущих поколений.¹⁶ Разумеется, что своим философским и моральным отрицанием новизны как иллюзии Экклезиаст только под-

¹⁴ Не менее интересным кажется мне вопрос, каково отношение постмодернизма к вопросу о новизне. На основании его эстетико-философского *канона* можно было бы ожидать, что для постмодерниста она как *тема* на самом деле иллюзорна, или иррелевантна; что касается подачи вещей, дело, наверно, обстоит иначе (в смысле перегруппировки материала).

¹⁵ «Единый миг мне большей бездной стал, | Чем двадцать пять веков затее смелой, | Когда Нептун тень Арго увидал» (*Данте Алигьери*. Божественная комедия. Новая Жизнь. Стихотворения, написанные в изгнании. Пир. / Пер. М. Л. Лозинского. Москва, 2002. С. 472).

¹⁶ Ср. Экклезиаст 1:9—11: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: „смотри, вот это новое“; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

тверждает и подчеркивает общую значимость чувства новизны для человека.¹⁷

Идея новизны играет даже центральную роль как концепт самоидентификации в древнерусской культуре. В *Повести временных лет* Владимир после крещения Руси говорит в молитве: «Христе Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия». В своем *Слове о законе и благодати* Иларион прославляет Владимира за принятие русскими христианства и противопоставляет новую Русь («заря благоверия») старой, языческой («мрак идольский»), называя русскую землю «новые мехи». Кроме того, он противопоставляет друг другу старокрещенную Византию и новую Русь, проведя параллель с Ветхим и Новым заветами.¹⁸

Как ясно из приведенных примеров, идея новизны существенно важна для того, чтобы вообще могли состояться сознательное восприятие и ощущение «первого переживания». Думается, что феномен новизны может восприниматься таковым лишь на фоне чего-нибудь знакомого. Строго говоря, без функции памяти и рефлексии не может быть узнавания новизны в этом смысле.¹⁹ К тому же новизна может быть не только относительной и постепенной, но и являться, так сказать, функцией памяти.²⁰ Первое переживание (в буквальном смысле — как происшествие в самом начале жизни), будучи еще буквально «без-подобным», в таком случае представляется парадоксальной идеей, которая характеризуется своей уникальностью и абсолютностью, а

¹⁷ Особый, мрачный, случай — конец последнего, предсмертного стихотворения Есенина *До свиданья, друг мой, до свиданья* (24 дек. 1925): «В этой жизни умирать не ново, | Но и жить, конечно, не новей».

¹⁸ Ср. *Лотман Ю. М. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)* // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. Санкт-Петербург, 2002. С. 91.

¹⁹ Не принимаю в расчет ни вопроса о возможных врожденных представлениях, ни патологических случаях недостатка памяти, как их описал, например, Оливер Сакс (*Sacks O. The Man Who Mistook his Wife for a Hat*. London, 1985).

²⁰ Например, в случаях, когда мы вспоминаем о чем-нибудь модном, о новой тенденции и т. п., что уже относится к прошлому: новизна или, лучше сказать, длительность чувства новизны измеряется длительностью моды.

потому обычно и своей значимостью для воспринимающего-переживающего. Однако — и это не менее парадоксально — в литературном (и вообще в языковом) контексте топос первого переживания является ретроспективной реконструкцией, поскольку настоящее, актуальное когнитивное и психическое состояние детского ума принципиально уже недоступно взрослому вспоминающему, рассказывающему уму. Эта недоступность настоящих детских модусов мышления в той же мере относится и к мифическому мышлению.²¹ Вигерс, на основании таких исследований о когнитивном развитии ребенка, как работы психологов Пиаже (Piaget), Грубера и Вонеша (Vonèche), проводит существенное различие между «the perspective of a child», и «the childlike perspective», т. е. между перспективой ребенка и детской перспективой (неизбежно) взрослого рассказчика.²² Он утверждает, что степень «детскости» («the degree of „childlikeness“») зависит не просто от возраста ребенка-героя, но прежде всего от воли автора, и от доминантной стилевой характеристики эпохи. Так, период модернизма (особенно его постсимволистская, авангардная фаза) с его особым интересом к примитивизму и инфантилизму демонстрирует поразительно высокий художественный и литературный интерес к специфически детским формам выражения.²³

Итак, литературная передача детской перспективы и детского мышления принципиально условна и всегда представляет собой особый случай (гипотетической) реконструкции модели мира.

Главный тезис нашей статьи состоит в следующем: семиозис первых переживаний подразумевает возникновение сознания, т. е. возникновение некоего воспринимающего центра, который устанавливает различие между собой и всем остальным в мире (не-собой). Нача-

²¹ Hansen-Löve A. A. *Mythos als Wiederkehr (ein Essay) // Mythos in der slawischen Moderne / Hrsg. von W. Schmid. München, 1987. S. 18—20 (Wiener Slawistischer Almanach, Sbd. 20).*

²² *Wieggers B. The Child and the Childlike in Russian Narrative Literature (1850—1935). Ph.D. diss., Groningen University. Maastricht, 2001.*

²³ Объем и диапазон этой статьи не позволяют подробно изложить теорию Вигерса (*Wieggers B. The Child and the Childlike ...*) и его анализ развития и функций этой темы в русской литературе конца XIX — начала XX вв.

ло такого восприятия мира как пространственного отделения «Я» и «не-Я» подразумевает одновременное возникновение принципа ориентира и той основной семиотической функции, которая в языкознании обозначается термином *deixis*; его можно определить как когнитивное, моторное и языковое указывание (пространство как перцептивная категория и здесь преобладает над временем). Я исхожу из того, что на уровне текста *deixis* как семиотический принцип может реализоваться не только путем указательных местоимений и наречий и т. п., но уже самим актом называния, т. е. тем, что посредством текстовой структуры открывается (взгляд на) мир: «называется» положение дел, исходная ситуация в мире,²⁴ где происходит событие «первого переживания» с вышеуказанными модальными и аффективными качествами.

В настоящей статье моя задача — очертить контуры и главные характеристики топоса первого переживания и обратить внимание на проявление данного топоса в русской литературе.

В этом смысле на редкость выразительный поэтический пример дан в стихотворении Заболоцкого *Детство*.²⁵ В нем открывается вид на маленький мир огорода у сельского дома. На него смотрит девочка, которая целиком отдается созерцанию. Это не просто идиллия,²⁶ а что-то большее. Этот мир, — вернее модель мира, лежащая в его основе, — представляет собой одновременно и микрокосм, и макрокосм. В том, что девочка видит, заключено все и навсегда:

А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отобразен весь мир до самого конца.

²⁴ В примере из Рильке это достигается довольно имплицитно сочетанием вопроса и ответными действиями в отношении к миру: «Wie war das Eines: Duft der Linden atmen, | Parkstille hören —, [...]».

²⁵ *Заболоцкий Н. А.* Столбцы и поэмы. Стихотворения. Москва, 1996. С. 253.

²⁶ Ср.: «На что она глядит? И чем необычаен | И сельский этот дом, и сад и огород, | Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин, | И что-то вяжет там, и режет и поет? | Два тощих петуха дерутся на заборе, | Шершавый хмель ползет по столбику крыльца».

Узрев этот дом с садом, девочка испытывает первое переживание мира как значимой целостности. В ней совершается акт сознания мира вне ее. Происходит так только в детстве, раз и навсегда, и этот образ (дом, сад и лес) будет сопровождать ее всю жизнь, как архетип или образ осмысленного мира:

И в глубь души ее, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.

Момент истинно первого переживания, озарения и чувства совершенной новизны описывается, как «чудо из чудес»:

Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес.

Как я уже указывал выше, топос первых переживаний особенно важен для модернизма, т. е. для того (мега)периода, для мировоззрения которого вопросы о времени вообще²⁷ и (антропологический) вопрос о сущности человеческой природы стали особенно острыми. Можно сказать, что последний вопрос, т. е. вопрос о сущности человеческой природы как таковой, на самом деле впервые ставится у авторов, для которых человек сам для себя проблема (у Достоевского — нагляднее всего в случае подпольного человека²⁸ — и, по-видимому, у Гаршина). У Белого, например, обе темы детерминируют его модель мира и построение конфликтов.

Из двух самых заметных, характерных мотивов образного языка первых переживаний — пространственной экспансии и стягивания с точки зрения (имплицитного) воспринимающего центра (или, так сказать, «основателя *deixis*'а») — преобладает экспансия; она может на-

²⁷ Ср. Иванов В. В. Категория времени в искусстве и культуре XX века // Structure of Texts and Semiotics of Culture / Ed. by J. van der Eng, M. Grygar. The Hague; Paris, 1973. Pp. 103—151.)

²⁸ Т. е. противопоставляю его образ человека «реалистической антропологии» таких авторов, как, например, Тургенев или Гончаров, для которых вопрос о человеке более ограничен и прагматичен, или, по меньшей мере, имплицитен. Такие авторы показывают конфликты своих героев и их столкновения с миром, не проблематизируя человеческую природу как таковую (или так принципиально как литературную тему).

чатся с перечисления (как в примерах из Рильке и Заболоцкого), расширяющего круг мира, которому словно бы открывается субъект в акте сознания. Интересно в этой связи указать на поразительно однородный по семантике приставок «центробежный», «экспансивный» лексикон, связанный с этой ситуацией; например: «развиться», «открыться», «расцвести», «вздохнуть» (самое первое физическое действие всякого животного после рождения), или, немного более отвлеченно: «восхититься», «взойти» и т. п.

В творчестве Белого сказывается центробежность / центростремительность в связи с темами начала, времени / безвременья и первичности. Этот узел мотивов занимал его, видимо, всегда. Он появляется, например, уже в раннем автобиографическом рассказе *Световая сказка* (1903) в сочетании с другим характерным для него мотивным кругом: свет и цветовая гамма (солнце, звезды, свет и тьма, золото, лазурь, пурпур и т. д.). Рассказ начинается с рождения автора и момента появления сознания («Помню впервые себя у окна»²⁹). Другой интересный пример тематизации нашего топоса — его же автобиографическая поэма *Первое свидание* (1921). Это — стихотворная, духовно-философская и интеллектуальная автобиография. В начале первой части ее мемуарная цель сформулирована в предельно сжатом виде и именно как литературный топос первого переживания (не первого в абсолютном, жизненном, но в интеллектуальном смысле), который дальше будет развиваться в форме поэмы о развитии его сознания и личности.³⁰ Поэма открывается мотивом экспансии (буквально, в смысле начала, и посредством семантики восхода) в сочетании с мотивами свидания (т. е. обоюдного узнавания) и первой любви:

Взойди, звезда воспоминанья;
Года, пережитые вновь:
Поэма — первое свиданье,
Поэма — первая любовь.

²⁹ Белый А. Симфонии. Ленинград, 1991. С. 468.

³⁰ Белый А. Первое свидание. Lausanne, 1973. С. 7 (Slavica Reprint. No. 2; ориг. изд. — Петроград, 1921).

Самый сильный вариант экспансии у Белого, конечно, знаменитый образ взрыва, который определил мировоззренческую систему и сюжет его романа *Петербург* (1913).³¹

Мотивы экспансии — стягивания (концентрического и сферического) — у Белого принимают буквальный характер, развиваясь в реализованную метафору и даже космологическую аллегорию, в романе *Котик Летаев* (1916), который был задуман им как третья, после *Серебряного голубя* и *Петербурга*, часть трилогии.³² Это автобиографический и философический роман, в котором он интерпретирует самое начало своей сознательной жизни (в возрасте приблизительно от трех до пяти лет) с точки зрения антропософии. В центре его — детская психика и, как писал Замятин, «период первых проблесков сознания в ребенке, когда из мира призрачных воспоминаний о своем существовании до рождения, из мира четырех измерений — ребенок переходит к твердому, больно ранящему его, трехмерному миру».³³

Белый описывает возникновение своего сознания, пользуясь не только вышеуказанной семантикой экспансии (открывания и взрыва), но и концентрической пульсации (экспансия — стягивание). Несколько примеров:

Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза.³⁴

[...] — не было разделения на «Я» и «не-Я», не было ни пространства, ни времени...

И вместо этого было: — состояние натяжения ощущений; будто все-все-все ширилось: расширялось, душило; и начинало носиться в себе крылорогими тучами. [...] Позднее возникло подобие: переживающий себя шар; многоочитый и обра-

³¹ Мотив экспансии в этой форме, обладая буквально огромной энергией, имеет и поразительный ассоциативный, когнитивный потенциал; ср. например космологический образ Изначального, Большого Взрыва (*Big Bang*) или культурологическую мега-метафору Лотмана «Культура и взрыв» (*Лотман Ю. М. Культура и взрыв*. Москва, 1992).

³² *Белый А.* Котик Летаев. München, 1964. С. VIII (Репр. изд. Slavische Propyläen. Bd. 3).

³³ *Замятин Е. И.* Лица. Сборник статей. New York, 1955. С. 78—79.

³⁴ *Белый А.* Котик Летаев. С. 13 (Предисловие).

щенный в себя, переживающий себя шар ощущал лишь — «внутри»; [...] И сознание было: сознанием необъятного, обниманием необъятного; неодолимые дали пространства ощущались ужасно; ощущение выбегало с окружности шарового подобия — щупать: в себе... дальше [...].³⁵

Или:

Первый сознательный миг мой есть — точка; пронизает бессмыслицу он; и — расширившись, он становится шаром, а шар — разлетается: бессмыслица, пронизывая его, разрывает его... [...] Ничто, что-то, и опять ничто; снова что-то; все — во мне, я во всем... Такковы мои первые миги...³⁶

Дальше следуют «светочи» и процесс метаморфозы пространства и времени, которая развивается серией эквивалентностей, как в каноническом мифе о сотворении мира.³⁷

Выше были рассмотрены некоторые примеры топоса первого переживания, в которых этот момент совпадал с появлением (само)сознания. Кроме чувства времени, в них была характерным мотивом или метафорой экспансия в какой-либо ее форме (расширение, центробежность / стремительность — но и простое «называние мира») в сочетании с мотивом возникновения воспринимающего центра (или «основателя *deixis*'а»). Этот центр создает объективирующую психическую функцию «Я / Себя» и впервые противопоставляет ее всему, что с ним не совпадает («миру»).

В заключение данной работы я хочу обратить внимание и на другую метафору описываемого загадочного (если не чудесного) психического события, а именно на метафору зеркала.

³⁵ Там же. С. 16 (Гл. 1. *Бредовый лабиринт*).

³⁶ Там же. С. 25.

³⁷ Ср. следующую цепочку эквивалентов (по пространственно-анатомической аналогии) в тексте: «мрак», «кожа змееныша», «свод: таково нам пространство», «мое первое представление о нем, что оно — коридор», «переходки, коридоры, переулочки [...] ведомы мне: а вот — „я“; а вот — „я“», «комнаты — части тела; они сброшены мною», «распасться [...] и стать чернородом земли», «тысячелетия строю я внутри тела; и бросаю из тела: мои странные здания», «в голове слагаю храм мысли, его уплотняя, как череп».

Замечательный пример такой метафоры представляет короткий мемуарно-философский рассказ Бунина *У истока дней* (1906) и его более поздний, сокращенный вариант под заглавием *Зеркало*.³⁸ Они посвящены реконструкции и философскому истолкованию того загадочного момента, когда у него возникло сознание. Заглавие *У истока дней* указывает на то, что Бунин, как позже и Набоков, также связывает возникновение сознания с одновременным возникновением чувства времени (ср. метафору типа «поток времени»). Заглавие варианта *Зеркало* указывает на метафору и инструмент, с помощью которого он пришел к сознанию.

Бунинский рассказчик вспоминает себя в раннем детстве, в какой-то августовский день, играющим в одиночку в комнате деревенского дома. Он описывает обстоятельства и ряд событий, которые привели к первому его проблеску сознания. Мальчик смотрит в зеркало, и в тот момент, когда он наблюдает отраженный мир, который содержит и его самого, визуально происходит раздвоение мира на *себя* и *не-себя*. Эта двойственность дает импульс, по когнитивной аналогии, к первому проблеску самосознания в нем. В тот момент в нем возникли и начали функционировать обе психические инстанции, или когнитивные позиции («я разделился на воспринимающего и создающего»), без которых не может быть самосознания. Этот момент он переживает как изумление и озарение — подобно очарованности переживающих этот момент Рильке, Заболоцкого и Набокова в вышеприведенных примерах — и вместе с тем как новизну мира:

Я видел его [т. е. зеркало] и ранее. Видел и отражения в нем. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и создающего. И все окру-

³⁸ Бунин И. А. У истока дней // Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Москва, 1987. Т. 2. С. 64—274. Вариант *Зеркало* был напечатан в Париже в 1929 г. с подзаголовком *Из давних набросков «Жизни Арсеньева»*; см. Бунин И. А. Зеркало (Из давних набросков «Жизни Арсеньева») // Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. Москва, 1966. Т. 6. С. 292—299. В рамках настоящей статьи различия между вариантами не существенны.

жавшее меня внезапно изменилось, ожило — приобрело свой собственный лик, полный непонятного.

Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело между колонок туалета, увидел там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но только более заманчивую, более красивую, увидел самого себя — и в первый раз в жизни был изумлен и очарован.³⁹

Однако у Бунина это загадочное и радостное открытие самосознания через зеркало в начале жизни неизбежно связано с ее концом, со смертью, — другим лейтмотивом в этом рассказе. *Исток дней* открылся для него в августе, т. е. летом. С ним открылось и чередование времен года — зимы, весны — и появилась тема смерти. Умерла какая-то девочка в доме — немного позже, чем имело место его переживание с зеркалом, и все зеркала в доме стали закутывать в черный колленкор. Это только усугубляет таинственность и непонятность всего в мире, и делает зеркало в его глазах причастным грозной тайне смерти. Автор вспоминает суматоху в ночи и безобразный, ужасный сон. Свет нового дня утешает и успокаивает его, однако зеркало покрыто черным. Позже он понял, что зеркало — на самом деле только стекло, намазанное ртутью. Но на всю жизнь (ср. стихотворение Заболоцкого: «как спутники живые») сохранилась в нем память об этом первом и безвозвратно исчезнувшем переживании перед зеркалом в тот августовский день, который он принял за начало своего бытия.

³⁹ Ср. Бунин И. А. У истока дней. С. 266.